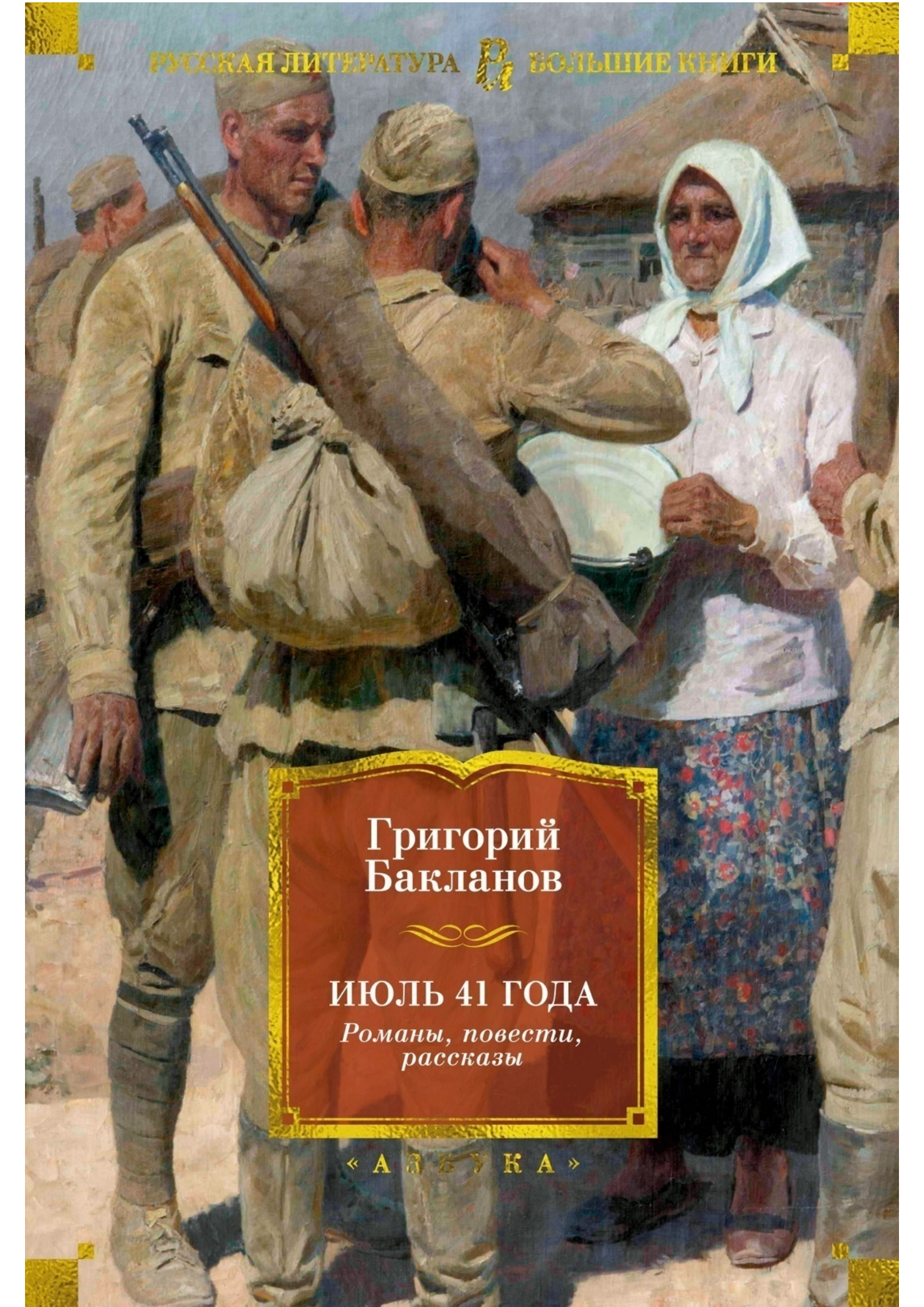


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ



Григорий
Бакланов

ИЮЛЬ 41 ГОДА

*Романы, повести,
рассказы*

« А З В У К А »

Русская литература. Большие книги

Григорий Бакланов

**Июль 41 года. Романы,
повести, рассказы**

«Азбука»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Бакланов Г. Я.

Июль 41 года. Романы, повести, рассказы / Г. Я. Бакланов —
«Азбука», — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-28438-8

Григорий Бакланов – советский писатель, сценарист и публицист, фронтовик, один из ярких представителей «лейтенантской прозы», среди которых Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, Василь Быков, Борис Васильев, Виктор Некрасов... В 1941 году, когда Бакланову было 17 лет, он добровольцем ушел на фронт, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии и Венгрии; конец войны застал его в Австрии, в звании младшего лейтенанта. Достоверные эпизоды войны, отраженные в произведениях Бакланова, часто шли вразрез с парадной историей, но несли правду, которую автор хотел рассказать о том, что видел и пережил. «Новые поколения не представляют себе, что же такое в свое время, в конце 50-х – начале 60-х, была так называемая „лейтенантская проза“, – вспоминал Бакланов. – Это был, в первую очередь, свой взгляд на войну, писали о том, что сами вынесли с полей сражений, правду делали достоянием всех». В настоящее издание вошли самые известные произведения Григория Бакланова, написанные в разные годы, включая ранние военные повести «Южнее главного удара» и «Пядь земли», роман «Июль 41 года», рассказы «Был месяц май», «Вот и кончилась война» и «Надя».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-28438-8

© Бакланов Г. Я.

© Азбука

Содержание

Предисловие	9
Пядь земли	12
Глава I	12
Глава II	16
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Григорий Бакланов

Июль 41 года. Романы, повести, рассказы

© Г. Я. Бакланов (наследники), 2025

© А. Г. Попофф, состав, статья, 2025

© Оформление

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025

Издательство Азбука®



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



БОЛЬШИЕ КНИГИ

Григорий Бакланов

ИЮЛЬ 41 ГОДА

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ



Санкт-Петербург

Предисловие

В статье «По праву памяти» Василь Быков вспоминал, как в конце 1950-х годов поразила его первая военная повесть Григория Бакланова «Южнее главного удара». В ней рассказывалось о нескольких днях тяжелых боев в районе венгерского города Секешфехервар. «Эта талантливо написанная повесть – концентрат суровой правды о войне, какой она навеки запечатлелась в сознании переживших ее фронтовиков...» Написанная достоверно и емко, без патетики, эта повесть повлияла на творчество Быкова: прочитав ее, он «понял, как надо писать о войне»¹.

Бакланов и Быков не раз встречались и переписывались, их многое связывало. Оказалось, что в начале 1945 года они воевали в Венгрии на одном фронте². Конец войны застал обоих в Австрии, в звании младших лейтенантов. В их поколении молодых людей, а Бакланову было 22 года, когда кончилась война, старших офицеров не было: они были солдатами и лейтенантами (отсюда – «лейтенантская проза»). «Сейчас забыто, – писал Бакланов, объясняя термин, придуманный критиками, – и новые поколения не представляют себе, что же такое в свое время, в конце 50-х – начале 60-х, была так называемая „лейтенантская проза“. Это был, в первую очередь, свой взгляд на войну, писали о том, что сами вынесли с полей сражений, правду делали достоянием всех. И книги эти трудно проходили, очень трудно»³.

Бакланову было 17 лет, когда в 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Был рядовым артиллерийского полка, а с лета 1943 года, окончив 2-е Ленинградское артиллерийское училище, командовал взводом управления артиллерийской батареи. Дневников на фронте он не вел, да это и не разрешалось. Работая над первой военной повестью, он восстанавливал события по памяти: «Я заново видел войну, все те годы, и дни, и часы, и месяцы, а час бывал длиннее многих жизней»⁴. События и подробности в его военной прозе, как правило, не придуманы: обычно это рассказ о конкретном эпизоде на Северо-Западном и Юго-Западном фронте, в дальнейшем переименованном в Третий Украинский⁵. «За четыре года войны столько увидено, что выдумывать не надо, надо только вспомнить и увидеть заново»⁶. В емкой и драматичной повести «Мертвые сраму не имут» (1961) описаны бои 1943 года на Украине, судьба почти безоружного артиллерийского дивизиона, которому выпало сражаться с немецкими танками. Бакланов писал о том, что сам видел и испытал, о буднях войны, а «не о парадной стороне жизни и не о тех, кому досталось водружать флаги»⁷.

Повесть «Пядь земли», опубликованная в мае 1959 года в журнале «Новый мир», определила его писательскую судьбу. После нескольких восторженных рецензий на нее обрушилась официальная критика: мишенью послужила именно достоверность в описании событий. Автора упрекали в принижении подвига, в «окопной правде». В смысл фразы, ставшей выражением официального мнения, никто не вдумывался⁸. «А ведь окопная – значит народная, –

¹ Быков В. По праву памяти // Правда. 1979. 16 июля. См. также: Быков В. Верность памяти. https://knihi.com/Vasil_Bykau/Publicistika-rus.html#chapter11.

² Бакланов Г. Жизнь, подаренная дважды // Бакланов Г. Собр. соч.: В 5 т. М.: Федеральная программа книгоиздания России, 2003. Т. 5. С. 111.

³ Бакланов Г. Не за счет других // Литературная газета. 1985. 12 июня.

⁴ Бакланов Г. Жизнь, подаренная дважды. С. 110.

⁵ Бакланов Г. «Выполняя долг перед павшими». Беседа с Е. Хоревой // Советская культура. 1980. 9 мая.

⁶ Там же.

⁷ Бакланов Г. Жизнь, подаренная дважды. С. 111.

⁸ Там же. С. 409.

писал Бакланов, – потому что в окопах сидел народ... Благодаря грубым обвинениям повесть прославилась...»⁹ «Пядь земли» была переведена на многие языки и издана в 36 странах.

Описанное в ней начало Ясско-Кишиневской операции относится к весне и лету 1944 года, когда исход войны уже был предрешен. В июне союзники открыли второй фронт, а в августе Румыния вышла из войны. Желание дожить до победы передано в повести сильно и ярко. Красоту мира, радость и полноту жизни герои ощущают порой за минуту до смерти. «Сколько суждено мне пройти вперед? – думает Мотовилов. – Шаг? Но этот шаг – вся моя жизнь»¹⁰. Читатель расстается с лейтенантом Мотовиловым в Молдавии. Позади бои за маленький плацдарм, погибшие друзья. Впереди – новые фронтовые дороги. Конец повести символичен: Мотовилов смотрит на дорогу, на коленях у него сидит молдавский мальчик. «Далеко, у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын»¹¹. Судьба Мотовилова читателю неизвестна: повесть заканчивается его надеждой выжить.

Работая над повестью «Пядь земли», Бакланов ощущал себя ровесником своих героев: «Все так живо было перед глазами, словно происходило вчера...»¹² В повести «Навеки девятнадцатилетние», опубликованной двадцать лет спустя, в 1979 году, героигодились ему в сыновья. Он писал эту повесть «с отцовским чувством»¹³. Толчком для ее написания послужил случай на съемках кинофильма «Пядь земли». Снимали летом и осенью 1963 года в районе бывшего Заднестровского плацдарма. Когда рыли окопы на месте прежних, найдены были останки молодого воина. Потом нашли пряжку со звездой, какая была у советских офицеров. «Это был человек явно нашего поколения, – рассказывал Бакланов. – Очень молодой»¹⁴. Через четырнадцать лет это воспоминание связалось с мыслью о поколении молодых людей, большинство которых «осталось на войне навечно, на поле боя»¹⁵. Эти повести связаны между собой темой безымянного героя, точнее – мыслью о том, что «не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды...». Это слова Юлиуса Фучика, послужившие эпиграфом к «Пяди земли».

Мысль о том, что даже в самой кровопролитной войне потеря одной жизни невосполнима, выражена в «Пяди земли» во внутреннем монологе лейтенанта Мотовилова: он размышляет о логике войны, о статистических потерях и о сыновьях, которых невозможно заменить ни на земле, ни в сердце. Герои Бакланова становятся памятны и близки читателю; в рассказе об их коротких жизнях воплощена судьба поколения. Как писал критик Лев Оборин, повесть «„Навеки девятнадцатилетние“ завершается гибелью главного героя, чьими глазами и показана война, чьими мыслями и словами так много сказано...»¹⁶. Проза Бакланова сохранила для нас ценности ушедшего поколения, характеры, незабываемые портреты и даже подлинные имена погибших. «Пусть даже не о нем рассказано, – говорил Бакланов, – но пусть его фамилия живет»¹⁷.

В романе «Июль 41 года», который Бакланов считал одним из главных своих произведений, рассказано о трагедии первых месяцев войны. Этот роман был написан на основе доку-

⁹ Бакланов Г. «Я говорю – выгребем». Беседа с В. Приходько // Московская правда. 1998. 10 сент.

¹⁰ Бакланов Г. Пядь земли // Бакланов Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 76.

¹¹ Там же. С. 142.

¹² Бакланов Г. Жизнь, подаренная дважды. С. 206.

¹³ Там же.

¹⁴ Стенограмма беседы с А. Я. Ласкиной, 12 апреля 1979. Цитируется по машинописной копии из домашнего архива Бакланова.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Оборин Л. О Григории Бакланове // Знамя. 2010. № 5. <https://znamlit.ru/publication.php?id=4278>.

¹⁷ Стенограмма беседы с А. Я. Ласкиной, 12 апреля 1979.

ментальных материалов, мемуаров, а также бесед автора с людьми, жившими в пограничных районах перед войной. В нем он одним из первых показал взаимосвязь между сталинскими репрессиями, обезглавившими армию, и неисчислимыми потерями в 1941 году. Цензура требовала вынуть из романа главы о репрессиях, но он не шел на компромисс¹⁸. Роман был опубликован в январе–феврале 1965 года, в самом конце хрущевской «оттепели», а потом не переиздавался 12 лет. Импульсом для его написания послужила судьба родного брата Бакланова, Юрия Фридмана, погибшего в октябре 1941 года в московском ополчении.

В 1982 году Бакланов рассказывал, как спустя десятилетия видится ему война: «Теперь, на отдалении лет, возникает несколько иной, более обобщенный взгляд на события, который и отражается в новых книгах»¹⁹. Если в военных повестях рассказано о юности фронтового поколения, в произведениях о мирном времени, в том числе в романе «И тогда приходят мародеры» (1995), подведен итог его жизни. Основное действие разворачивается в 1990-х годах, когда героям за шестьдесят. Во вступлении к роману рассказывается, как Лесов, вернувшись в родной город, разбомбленный в войну, разыскивает могилы родителей. А разыскав их на кладбище, говорит: «Я вернулся». Эта сцена воссоздана по воспоминаниям автора. Многие автобиографические подробности использованы в рассказе о родителях Лесова, а погибшему на фронте брату героя автор дал имя своего старшего брата Юры, хотя описал гибель другого человека. Но так же, как Лесов, Бакланов узнал обстоятельства гибели своего брата через сорок лет после войны²⁰.

Название повести «Мой генерал», опубликованной в 1999 году, обманчиво. В этой короткой повести речь идет не о войне. В ней прослежена жизнь героев в разные эпохи – хрущевскую, брежневскую и ельцинскую. Уличная сцена в начале повести – смерть наркомана на улице в 90-е годы – особенно поражает, когда она повторена в конце, и читатель уже знает историю этого молодого парня. Как говорил Бакланов в одном из интервью, способность понимать боль другого – необходимое качество писателя²¹.

Рассказы он писал всю жизнь. Самый известный его рассказ, «Был месяц май» (первоначальное название – «Почем фунт лиха»), написан о первых победных днях, когда автор и разведчики его дивизии стояли в небольшой австрийской деревне. По этому рассказу, совместно с режиссером Марленом Хуциевым, Бакланов написал сценарий к телефильму, ставшему популярным.

В послесловии к воспоминаниям «Жизнь, подаренная дважды» Бакланов писал: «Искусство, не уча, а только любя и сопереживая, закладывает в людях человеческое»²².

Герои его «невыдуманных» рассказов «Вот и кончилась война» и «Надя» – безрукий ветеран войны и одинокая молодая женщина. В рассказе «Надя» снова описан приезд автора после войны в родной город, разбомбленный Воронеж. Он испытывает чувство «смутной вины» перед бывшей одноклассницей – ведь «из всего класса, из всех наших ребят я один вернулся с фронта»²³. За кажущейся простотой этой фразы – судьба целого поколения, о котором Бакланов писал в своих книгах.

Александра Попофф, дочь писателя

¹⁸ Бакланов Г. «Июль 1941 года, или Пятьдесят лет спустя». Беседа с М. Хемплин // Независимая газета. 1991. 1 авг.

¹⁹ Бакланов Г. «У памяти свои законы». Беседа с Т. Сергеевой // Московская правда. 1982. 16 апр.

²⁰ Бакланов Г. «После бомбежки красивое небо». Беседа с А. Ковалевой // Московский комсомолец. 1996. 3 июля.

²¹ Бакланов Г. «Мужество быть человеком». Беседа с В. Липатовым // Комсомольская правда. 1982. 14 марта.

²² Бакланов Г. Жизнь, подаренная дважды. С. 408.

²³ Бакланов Г. Надя // Бакланов Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. С. 216.

Пядь земли

Повесть

Моей матери

Иде Григорьевне Кантор

Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус Фучик

Глава I

Жизнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из щелей и блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после войны. Мы ложимся на землю и дышим всей грудью. Роса уже пала, и ночной воздух пахнет влажными травами. Наверное, только на войне так по-мирному пахнут травы.

Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере, звезды там были синеватые, мелкие, а здесь они все яркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть, правда есть жизнь на какой-то из этих звезд?

Луна еще не всходила. Она теперь всходит поздно, на фланге у немцев, и тогда у нас все освещается: и росный луг, и лес над Днестром, тихий и дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в тени. Луна осветит его перед утром.

Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики. Они привозят в глиняных корчажках горячую баранину и во флягах – холодное, темное, как чернила, молдавское вино. Хлеб, чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день. На вторые сутки он черствеет и сыплется. Но иногда привозят кукурзунный. Янтарно-желтые кирпичики его так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то пустил шутку:

– Выбьют нас немцы отсюда, скажут: вот русские хорошо живут – чем лошадей кормят!..

Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в первый момент не можем отдышаться: небо, горло, язык – все жжет огнем. Это готовил Парцвания. Он готовит с душой, а душа у него горячая. Она не признает кушаний без перца. Убеждать его бессмысленно. Он только укоризненно смотрит своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами: «Ай, товарищ лейтенант! Помидор, молодой барашек – как можно без перца? Барашек любит перец».

Пока мы едим, Парцвания сидит тут же на земле, по-восточному поджав под себя полные ноги. Он стрижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его круглой загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой, приятно полный – почти немыслимый случай на фронте. Даже в мирное время считалось: кто пришел в армию худой – поправится, пришел полный – похудеет. Но Парцвания не похудел и на фронте. Бойцы зовут его «батано Парцвания»: мало кто знает, что в переводе с грузинского «батано» означает господин.

До войны Парцвания был директором универмага где-то в Сухуми, Поти или Зугдиди. Сейчас он связист, самый старательный. Когда прокладывает связь, взваливает на себя по три катушки сразу и только потеет под ними и таращит свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. Засыпает он незаметно для самого себя, потом всхрапывает, вздрогнув, просыпается. Испуганно оглядывается вокруг мутным взглядом, но не успел еще другой связист папироску свернуть, как Парцвания опять уже спит.

Мы едим баранину и хвалим. Парцвания приятно смущается, прямо тает от наших похвал. Не похвалить нельзя: обидишь. Так же приятно смущается он, когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов, в общем, можно понять, что у них в Зугдиди женщины не признавали за его женой монопольного права на Парцванию.

Что-то долго сегодня нет ни Парцвании, ни разведчиков. Мы лежим на земле и смотрим на звезды: Саенко, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саенко зовет его Детка и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры ног.

Сейчас он рядом со мной лениво потягивается на земле всем своим большим телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны, какое удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды?

У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте проходит мина. Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если прочертить мысленно траекторию, мы окажемся под ее высшей точкой. Удивительно хорошо потягиваться после целого дня сидения в окопе. Каждый мускул ноет сладко.

Саенко поднимает руку над глазами, смотрит на часы. Они у него большие, со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр, так что мне со стороны можно разглядеть время.

– Долго не идут, черти, – говорит он своим тягучим голосом. – Жрать охота, аж тошнит! – И Саенко сплевывает в пыльную траву.

Скоро взойдет луна: у немцев уже заметно светлеет за гребнем. А миномет все бьет, и мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам разведчики и Парцвания. Мысленно я вижу ее всю. Она начинается у берега, в том месте, где мы с лодок впервые высадились на этот плацдарм. И начинается она могилой лейтенанта Гривы. Помню, как он, охрипший от крика, с ручным пулеметом в руках, бежал вверх по откосу, увязая сапогами в осыпающемся песке. На самом верху, под сосной, где его убило миной, теперь могила. Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там – безопасный участок. Дорога петляет среди воронок, но это не прицельный огонь, немец бьет вслепую, по площади, даже днем не видя своих разрывов.

В одном месте на земле лежит неразорвавшийся реактивный снаряд нашего «андрюши», длинный, в рост человека, с огромной круглой головой. Он упал здесь, когда мы были еще за Днестром, и теперь уже начал ржаветь и зарастать травой, но всякий раз, когда идешь мимо него, становится жутковато и весело.

В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот метров по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а Парцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчажках, и потому укутывает корчажки одеялами, обвязывает веревками. Собственно, он мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и сам каждый раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть.

Луна одним краем показалась уже из-за гребня. В лесу сейчас черные тени деревьев и полосами дымный лунный свет. Капли росы зажигаются в нем, и пахнет повлажневшими лесными цветами и туманом; он скоро начнет подниматься из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосы лунного света...

Саенко приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону. Может быть, разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их: на плацдарме, ночью, никого не окликают

издали. Трое доходят до поворота дороги, и сейчас же рассыпавшаяся стайка красных пуль низко-низко проносится над их головами. С земли нам это хорошо видно.

Саенко опять ложится на спину.

– Пехота...

Позавчера это самое место днем, на «виллисе», пытался проскочить пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и вывалил полковника. Пехотинцы кинулись к нему, немцы ударили из минометов, наша дивизионная артиллерия отвечала, и полчаса длился обстрел, так что под конец все перемешалось, и за Днестром прошел слух, что немцы наступают. Вытащить «виллис» днем, конечно, не удалось, и до ночи немцы тренировались по нему из пулеметов, как по мишени, всаживая очередь за очередью, пока не подождли наконец. Мы после гадали: пошлют шофера в штрафную роту или не пошлют?

Луна поднимается еще выше, вот-вот оторвется от гребня, а разведчиков все нет. Непонятно. Наконец появляется Панченко, ординарец мой. Издали вижу, что он идет один и в руке несет что-то странное. Подходит ближе. Унылое лицо, в правой руке на веревке – горлышко глиняной корчажки.

Панченко угрюмо стоит перед нами, а мы сидим на земле, все трое, и молчим. Становится вдруг так обидно, что я даже не говорю ничего, а только смотрю на Панченко, на этот черепок у него в руках – единственное, что уцелело от корчажки. Разведчики тоже молчат.

Мы целый день прожили всухомятку, и до следующей ночи нам уже никто ничего не принесет: мы едим по-настоящему раз в сутки. А завтра опять целый день обстрел, слепящее солнце в стекла стереотрубы, жара, и кури, кури в своей щели до одурения, разгоняя дым рукой, потому что на плацдарме немец и по дыму бьет.

– Какой дурак придумал носить мясо в корчажках? – спрашиваю я.

Панченко смотрит на меня укоризненно:

– Парцвания велел, чего ж вы ругаетесь? Он говорил, в глиняной посуде не так остывает. Еще одеялами укутывал...

– А где он сам?

– Убило Парцванию...

Панченко кладет перед нами круглый ячменный хлеб, отцепляет от пояса фляжки с вином, сам садится в стороне, один, пожевывая травинку.

Оттого что мы день прожили всухомятку, вино сразу мягко туманит голову. Мы жуем хлеб и думаем о Парцвании. Его убило, когда он нес нам свои корчажки, завязанные в одеяла, чтоб – не дай бог! – в них не остыло за дорогу. Обычно он сидел вот здесь, по-восточному поджав полные ноги, и, пока мы ели, смотрел на нас своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами, то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую голову. Он ждал, когда мы начнем хвалить.

– Тебя не ранило? – спрашиваю я Панченко.

Тот обрадованно пододвигается к нам.

– Вот! – показывает он штанину, у кармана навывлет пробитую осколком, и для убедительности продевает сквозь две дыры палец. И вдруг, спохватившись, поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовой табак. – Чуть было не забыл совсем.

Мы крошим в ладонях сухие, невесомые листья, стараясь не просыпать табак. Вдруг я замечаю у себя на ладони кровь и прилипшую к ней табачную пыль. Откуда она? Я не ранен, я только резал хлеб. На нижней корке хлеба тоже кровь. Все смотрят на нее. Это кровь Парцвании.

– Где вас накрыло? – спрашивает Саенко. Вместе со словами табачный дым идет у него изо рта: он всегда глубоко затягивается.

– В лесу. Как раз где снаряд «андрюши» лежит. Вот так мы шли, вот так он лежит. – Панченко чертит все это на земле. – Вот здесь мина упала. А Парцвания как раз с той стороны шел.

Это та самая минометная батарея, которую мы никак не можем засечь.

Ночью мы лежим с Васиным в одной щели. Саенко я отправил вместе с Панченко. Надо донести Парцванию до лодки, надо переправить его на ту сторону.

Щель узкая, но внизу, у самого дна, мы подрыли ее с боков, так что вполне можно спать вдвоем. Ночи все же холодные, а вдвоем даже под плащ-палаткой тепло. Трудно только переворачиваться на другой бок. Пока один переворачивается, второй стоит на четвереньках. Но больше подрывать нельзя, иначе снарядом может обрушить щель.

Через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея, наши отвечают из-за Днестра через нас. Почему-то под землей разрывы всегда кажутся близкими. Это так называемый тревожащий огонь, всю ночь, до утра. Интересно, до войны люди страдали бессонницей, жаловались: «Целую ночь не мог уснуть: у нас под полом скребется мышь». А сверчок, так тот был целым бедствием. Мы каждую ночь спим под артиллерийским обстрелом и просыпаемся от внезапной тишины.

Я лежу сейчас и думаю о Парцвании, о хлебе, на котором осталась его кровь. Перед самой войной, когда я учился в десятом классе, был у нас вечер и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой. Они были свежие, круглые, разрезанные наискось через верхнюю корку, и туда вставлено по толстому розовому куску любительской колбасы. Пока нам их раздавали, директор школы стоял рядом с буфетчицей, гордый: это была его инициатива.

Мы съели колбасу, а булочки после валялись во всех углах, за урнами, под лестницей.

Васин спит, посапывая. Мне хочется закурить, но табак у меня в правом кармане, а мы лежим на правом боку. Каждый раз, когда всплывает немецкая ракета, я вижу заросшую шею Васина и маленькое покрасневшее во сне ухо. Странно, у меня к нему почему-то почти отцовское чувство.

Глава II

Жарко. Против солнца все как в дыму. Горячий воздух дрожит над ближними высотами, они пустынные, будто вымершие. Там – немецкий передний край.

Пехотинцы отсыпаются за ночь, скорчившись на дне окопов, сунув руки в рукава шинелей. Каждую ночь они, как кроты, роют ходы сообщения, соединяют окопы в траншеи, а когда будет построена прочная оборона, все придется бросать и переходить на новое место. Это уже проверено.

Немцы тоже спят. Только наблюдатели с обеих сторон высматривают, где шевелится живое. Редко простучит пулемет – сухие вспышки его почти не видны против солнца, – и опять тишина. Дым разрыва подолгу плывет над передовой в знойном воздухе.

Позади нас за лесом – Днестр, весь залитый солнцем. Хорошо бы сейчас искупаться в Днестре. Но на войне другой раз сидишь у воды и не то что искупаться – напиться до ночи не можешь. На белых песчаных отмелях Днестра не найдешь сейчас следа босой пятки. Только следы сапог, следы колес, уходящие в воду, и воронки разрывов. А выше по берегу, среди виноградников, наливающих теплым соком, греются на припеке молдавские хутора, днем безлюдные. Над ними зной и тишина. Все это позади нас.

Я смотрю на пологие высоты в стереотрубу, смотрю каждый день до тошноты. Эх, как они нужны нам! Если бы мы их взяли, здесь сразу переменялась бы вся жизнь.

Васин тем временем готовит завтрак. Врезал ножом банку свиной тушенки, поставил на бруствер, лезвие вытирает о штаны. Мы едим ее ложками, намазывая на хлеб. Едим не спеша: впереди целый день, а банка последняя. И оставлять мы тоже не любим.

Где-то близко слышны голоса. Я поворачиваю стереотрубу. Два пехотинца идут по полю с винтовками за плечами и разговаривают. Вот так просто идут себе и разговаривают, как будто ни немцев, ни войны на свете. Конечно, недавно мобилизованные, из-за Днестра. У этих удивительная особенность: где никакой опасности – перебегают, прячутся; от каждого снаряда, летящего мимо, падают на землю – вот она, смерть! А где все живое носа не высунет – ходят в полный рост. Я однажды видел, как вот такой, только что присланный на фронт солдат, смелый по глупости, шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки. Опытный, повоевавший пехотинец с умом не пройдет там, а этот ставил ногу, не выбирая места, и ни одна мина не взорвалась под ним. Метра два оставалось до края минного поля, когда ему крикнули. И он, поняв, где находится, больше уже шагу ступить не смог. Пришлось его оттуда снимать.

– Мало их, дураков, учит! – злится Васин.

Мы оба, бросив есть, следим за пехотинцами. Кто-то крикнул им из своего окопа. Они вовсе стали на открытом месте, на жаре, оглядываются: не поймут, откуда был голос. И немец почему-то не стреляет. От нас до них – метров тридцать; пройдут еще немного, и утренние длинные тени обоих головами достанут до нашего бруствера. Так и не поняв, кто звал их, пошли.

– Эй, кумовья, бегом! – не выдержал Васин.

Опять стали. Обе головы повернулись на голос в нашу сторону. Изменив направление, идут теперь к нам. Васин даже высунулся:

– Бегом, мать вашу!..

Я едва успеваю сдернуть его за ремень. Грохот! Сверху на нас рушится земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв! Сжались. Еще разрыв! Над нами проносит дым. Живы, кажется!.. В первый момент мы не можем отдышаться, только глядим друг на друга и улыбаемся, как мальчишки: живы!

– Вот сволочь! – говорю я.

Васин грязным платком вытирает лицо, оно у него все в земле. Смотрит мне на колено, глаза становятся испуганными. Смотрит на мой сапог, на землю и поднимает перевернутую банку тушенки. Там все перемешалось с песком. На колене у меня тает белый жир, по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок мяса, оставляя сальный след. Берегли... Ели не спеша...

– Таких убивать надо! – Васин зло швырнул банку. – Воевать не умеют, только других демаскируют.

И тут мы слышим стон. Жалкий такой, будто не взрослый человек стонет, а ребенок. Мы высовываемся осторожно. Один пехотинец лежит неподвижно, ничком, на неловко подогнутой руке, плечом зарывшись в землю. До пояса он весь целый, а ниже – черное и кровь, и ботинки с обмотками. На белом расщепленном прикладе винтовки тоже кровь. И тень от него на земле короткая, вся рядом с ним.

Другой пехотинец шевелится, ползет. Это он стонет. Мы кричим ему, но он ползет в другую сторону.

– Пропадет, дурак, – быстро говорит Васин и зачем-то начинает снимать сапоги, надавливая носком на задник. Босиком, скинув ремень, приготовился ползти за раненым.

Но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю. Оттуда стоны слышны глуше. Винтовка его так и остается на поле.

И опять тишина и зной. Растаял дым разрывов. Жирное пятно у меня на колене стало огромным и грязным. Я глянул на убитого в стереотрубу. Свежая кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи, роятся над ним. Здесь, на плацдарме, великое множество мух.

От огорчения, что не удалось позавтракать, Васин берется за трофейный телефонный аппарат, что-то чинит в нем. Он сидит на дне окопа, поджав под себя босые ноги. Голова наклонена, шея мускулистая, загорелая. Ресницы у него длинные, выгоревшие на концах, а уши по-мальчишески оттопырены и тяжелые от прилившей крови. Потные волосы зачесаны под пилотку – отрастил чуб под моей мягкой рукой.

Я люблю смотреть на него, когда он работает. У него не по возрасту крупные, умелые руки. Они редко бывают без дела. Если рассказывают анекдот, Васин, подняв от работы глаза, слушает напряженно; на чистом лбу его обозначается одна-единственная морщина между бровей. И когда анекдот кончен, он все еще ждет, надеясь узнать нечто поучительное, что можно было бы применить к жизни.

– Ты кем был до войны, Васин?

– Я? – переспрашивает он и поднимает на меня карие, позолоченные солнцем глаза с синеватыми белками. – Жестянщик. – Потом подносит к лицу ладони, нюхает их. – Вот уже не пахнут, а то все, бывало, жестью пахли.

И улыбается грустно и умудренно: война. Обдирая зубами изоляцию с провода, говорит:

– Сколько на войне всякого добра пропадает, так это привыкнуть невозможно.

Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, но теперь разрывы ложатся левей. Это она была с вечера. Шарю, шарю стереотрубой – ни вспышки, ни пыли над огневыми позициями – все скрыто гребнем высот. Кажется, руку бы отдал, только б уничтожить ее. Я примерно чувствую место, где она стоит, и уже несколько раз пытался ее уничтожить, но она меняет позиции. Вот если бы высоты были наши! Но мы сидим в кювете дороги, выставив над собой стереотрубу, и весь наш обзор – до гребня.

Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога, развороченная гусеницами, со следами ног, колес по свежей грязи, закаменела и растрескалась. Не только мина – легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки: так солнце прокалило ее.

Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас не хватило сил взять высоты. Под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться. Возникла оборона. Она возникла так: упал пехотинец, прижатый пулеметной струей, и прежде всего подрыл землю под сердцем,

насыпал холмик впереди головы, защищая ее от пули. К утру на этом месте он уже ходил в полный рост в своем окопе, зарылся в землю – не так-то просто вырвать его отсюда.

Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять укладывали нас огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем. Мы даже не можем подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с высот просматривают и весь плацдарм, и переправу, и тот берег. Мы держимся, зацепившись за подножие, мы уже пустили корни, и все же странно, что они до сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне кажется, будь мы на тех высотах, а они здесь, мы бы уже искипали их.

Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти высоты, неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревцами, воронками, белыми камнями, проступившими из земли, словно это обнажается вымытый ливнем скелет высоты.

Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сражениями. И среди них не будет места нашему плацдарму. Судьба его – как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между прочим, нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека. Только об этом забывают почему-то.

С тех пор как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали мы на всех реках. И немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались, зубами, руками вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это. Тогда, не жалея сил, мы захватывали новый плацдарм. И после наступали с него.

Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма. И никто из нас не может знать этого. Наступление начинается там, где легче прорвать оборону, где есть для танков оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь, немцы чувствуют и днем и ночью. Недаром они дважды пытались скинуть нас в Днестр. И еще попытаются.

Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится. И как она кончится, они тоже знают. Наверное, потому так сильно в нас желание выжить. В самые трудные месяцы сорок первого года, в окружении, за одно то, чтобы остановить немцев перед Москвой, каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но сейчас вся война позади, большинство из нас увидит победу, и так обидно погибнуть в последние месяцы.

В мире творятся великие события. Вышла Италия из войны. Высадились наконец союзники во Франции делить победу. Все лето, пока мы сидим на плацдарме, один за другим наступают фронты севернее нас. Значит, скоро и здесь что-то начнется.

Васин кончил чинить аппарат, любит свою работу. В окопе – косое солнце и тень. Разложив на голенищах портянки, протянув босые ноги, Васин шевелит пальцами под солнцем, смотрит на них.

– Давайте подежурю, товарищ лейтенант.

– Обожди...

Мне показалось, что над немецкими окопами возник желтый дымок. В стереотрубу, приближенный увеличительными стеклами, хорошо виден травянистый передний скат высоты, желтые извилистые отвалы траншей.

Опять в том же месте возникает над бруствером летучий желтый дымок. Роят! Какой-то немец роет среди бела дня. Блеснула лопата. Лопаты у них замечательные, сами идут в грунт. Вровень с бруствером пошевелилась серая мышиная кепка. Тесно ему копать. А каску от жары снял.

– Вызывай Второго!

– Стрелять будем? – оживляется Васин и, сидя перед телефоном на своих босых пятках, вызывает.

Второй – это командир дивизиона. Он сейчас на той стороне Днестра, в хуторе. Голос поутреннему хрипловатый. И – строг. Спал, наверное. Окна завешены одеялами, от земляного пола, побрызганного водой, прохладно в комнате, мух ординарец выгнал – можно спать в жару. А снарядов, конечно, не даст. Я иду на хитрость:

– Товарищ Второй, обнаружил немецкий артиллерийский НП!

Скажи просто: «Обнаружил наблюдателя», – наверняка не разрешит стрелять.

– Откуда знаешь, что это – артиллерийский НП? – сомневается Яценко. И тон уже мрачный, раздраженный оттого, что надо принимать решение.

– Засек стереотрубу по блеску стеклов! – вру я честным голосом. А может быть, я не вру. Может быть, он кончит рыть и установит стереотрубу.

– Значит, НП, говоришь?

Яценко колеблется.

Уж лучше не надеяться. А то потом вовсе обидно. Что за жизнь, в самом деле! Сидишь на плацдарме – голову высунуть нельзя, а обнаружил цель, и тебе снарядов не дают. Если бы немец обнаружил меня, он бы не стал спрашивать разрешения. Этой ночью уже прислали б сюда другого командира взвода.

– Три снарядика, товарищ Второй, – спешу я, пока он еще не передумал, и голос мой мне самому противен в этот момент.

– Расхвастался! Воздух сотрясать хочешь или стрелять? – злится вдруг Яценко.

И черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами. Все в полку знают, что Яценко стреляет неважно. И грамотный, и подготовку данных знает, но, как говорится, если таланта нет, это надолго. Однажды он пристреливал цель, израсходовал восемь снарядов, но так и не увидел своего разрыва. С тех пор Яценко всегда держит на своем НП одного из комбатов на случай, если придется стрелять. С ним вечно так: хочешь лучше сделать, а наступаешь на больную мозоль.

– Так вы ж больше не дадите, товарищ комдив! – оправдываюсь я поспешно. Это хитрость, непонятная человеку штатскому. Командир дивизии и командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково: «комдив», хотя дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом – в лучшем случае майор. Яценко любит, когда его называют сокращенно и звучно: «Товарищ комдив». И я иду на эту хитрость, как бы забыв, что по телефону не положены ни звания, ни должности – есть только позывные.

– Тебе что, мой позывной неизвестен? – обрывает Яценко. Но слышно по голосу – доволен. Это – главное.

Что угодно говорить, лишь бы снарядов дал. Мне начинает казаться – даст.

– А ты знаешь, сколько наш снаряд стоит? Пятьдесят килограммов – ты знаешь, сколько это в пересчете на рубли?

Все ясно. Точка опоры найдена. Когда пошло в «пересчете на рубли», Яценко уже не сдвинешь.

Он говорит долго и поучительно. Он любит себя послушать. И постепенно успокаивается от собственного голоса. Под конец даже добреет.

– Нанесешь этот НП на разведсхему, пришлешь мне с разведчиком. И наблюдай за ним, Мотовилов, наблюдай! Молодец, что засек.

Хочется выругаться. Страшно мы напугали немца, что нанесем его на разведсхему. Это все равно что убить его мысленно. А он вот пока что роет.

– Я знал, что комдив снарядов не даст, – говорит Васин, когда я возвращаю ему трубку. Он как будто даже доволен, что его предвидение сбылось... Тоже мне ясновидящий!

– Ты лучше сапоги надень! – срываю я на нем зло. – И ноги подбери. Расселся, как на пляже.

А немец теперь обнаглел окончательно. Роем на глазах у всех, словно знает, что по нему не будут стрелять. Я стараюсь не глядеть в его сторону. От этого меня еще больше все раздражает сейчас. И окоп тесный, и вода во фляжке теплая, пить противно, и еще Васин с аппаратом расселся так, что повернуться невозможно. Этой же ночью заставлю его рыть себе отдельный окоп, чтоб не торчал перед глазами.

Меня еще потому все раздражает сейчас, что выход есть, снаряды добыть можно. Но для этого надо пробежать по открытому месту шестьдесят метров. В шестидесяти метрах от нас – кукуруза, там – НП дивизионной артиллерии. Они все же не так трясутся над снарядами. И командир взвода там – Никольский – мальчик еще, страшно вежливый, этот не откажет. Главное – перебежать шестьдесят метров до кукурузы. Я уже знаю, что не перестану думать об этом.

Удивительно голая местность. Только несколько минных воронок, ни одного окопа, даже трава жесткая, стелющаяся: упадешь – и весь виден. Но сидеть так целый день, смотреть, как немец роет на глазах у тебя, тоже терпения не хватит.

От немцев нас загроаживает гребень кювета. Можно хоть изготавиться скрытно. Затягиваю туе ремень, передвигаю пистолет за спину, вешаю бинокль на шею.

– Будут спрашивать – отдувайся за обоих.

– А если комдив будет ругаться?

Васин очень не любит, когда начальство ругается. Прямо-таки грустнеет на глазах.

– Вот ты и скажешь комдиву, чтоб в следующий раз снаряды давал.

Васин моргает жалобно: мне, мол, хорошо говорить, а отдуваться ему.

– Не бойся, комдив сюда не придет.

Еще раз оглядываю высоты, занятые немцами. Тихо. Выскакиваю из окопа и бегу. Ветер кидается навстречу, нечем дышать. Впереди – воронка. Только бы добежать до нее! Не стреляет... Не стреляет... Падаю, не добежав! Сердце колотится в горле.

Пиу!.. Пиу!..

Чив, чив, чив!..

Словно плетью хлестнуло по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руки – так близко. Дурак! Не надо было шевелиться. Изо всех сил вжимаюсь в землю. Она сухая, каменистая.

Чив, чив, чив!..

Только б не в голову. Всей кожей головы чувствую, как могут попасть.

Пиу!.. Пиу!.. Пиу!..

Это уже свистят поверху. Осторожно приоткрываю один глаз и тут же зажимаюсь от вспышки. Вон он откуда бьет! На переднем скате высоты – крошечный холмик, яблоня и в круглой тени – окоп. Не могу удержать дрожь глаза, когда там бьются белые вспышки. Хочется зажмуриться. Лучше не видеть, как по тебе стреляют.

Впереди меня, у края воронки, чудом уцелевший желтый подсолнух; смотрит на солнце, отвернувшись от немцев.

Фьють! – падает шляпка.

Фьють! – падает стебель, перебитый у основания.

Я лежу на неудобно подогнутых руках, щекой, плечами прижавшись к земле. С земли высота кажется огромной, только краешек неба виден над ней. Я стараюсь запомнить место, где сидят пулеметчики, чтоб из кукурузы, откуда оно будет выглядеть иначе, узнать его. Если он не попадет в меня и я добежу до кукурузы, тогда уж он будет в моем положении: против артиллерии, бьющей с закрытой позиции из-за Днестра, пулеметчик – то же, что я, безоружный сейчас, против него. Я лежу под его пулями распростертый и из суеверного чувства стараюсь не думать о том, что будет с пулеметчиком, если я останусь жив и добежу до кукурузы.

Последняя очередь проносится надо мной. Тишина... Только теперь чувствую, как устали все время сжимавшиеся мускулы. Отчего-то болит затылок и шея. Край бинокля вре-

зался в грудь. Это я упал на него. Жаль, если побились стекла. У меня замечательный цейсовский бинокль.

На сколько у пулеметчика хватит терпения? Минут десять будет караулить, потом устанут глаза. Главное, чтоб немец не начал швырять мины. Если рядом упадет снаряд, еще можно остаться в живых. У меня был уже случай. Изорвало голенище сапог, а когда я вскочил и побежал, хромая, обнаружил, что еще каблук срезало. Снаряд рвется в земле и осколки выбрасывает вверх, особенно фугасный. Но от мины на ровном месте спасения нет. Она разрывается, едва ударившись о землю; осколки ее сбивают даже траву.

Осторожно за ремешок тяну из-под себя бинокль: врезался в кость, терпения нет никакого. Потом лежу, закрыв глаза. В висках кровь тяжелыми ударами отсчитывает время.

Наверно, прошло уже десять минут. Больше не могу. Вскакиваю и бегу. Бинокль раскачивается на шее, бьет по груди. Никак не удастся поймать его на бегу. Падаю уже в кукурузе. Пулемет запоздало строчит вдогонку.

Лежа на животе, еще не отдышавшись, просовываю бинокль меж стеблей. Слепящее солнце, синеватый дымок, затянувший высоты, – все это прорежают увеличительные стекла, и я вижу пулеметчиков десятикратно приближенными. Их двое, оказывается. За реденьким частоколом натканного в бруствер бурого конского щавеля шевелятся две железные каски, два желтых пятна вместо лиц. Теперь я их не потеряю из виду.

По кукурузе близко от меня пробегает, пригнувшись, пехотинец, ладонью прижимая к груди медали. Кажется, ординарец Никольского. Когда я спрыгиваю в траншею наблюдательного пункта, он уже развешивает на колышках, вбитых в стену, мокрые тряпки: платки, подворотнички. И радостно улыбается мне крепкими зубами, стараясь показать свое расположение:

– Это по вас стреляли, товарищ лейтенант?

Все это время, пока я лежал, мечтая только, чтоб не в голову попало, он под скатом в бомбовой воронке стирал, сидя на корточках, и прислушивался: по ком это? Никто даже огня не открыл. Вот черти!..

– Лейтенант где?

– Болеет лейтенант. В той щели лежит.

Никольский лежит на земле, с головой укрытый шинелью. Дрожит так, что под сукном видно. Я долго торможу его за плечо. Наконец он садится, откидывает с головы шинель. Расширенным зрачкам его даже в сумраке перекрытой щели больно от света, он жмурится. От лица, от шеи его пышет жаром, а руки ледяные и ногти синие.

– Никольский! – говорю я, вглядываясь в его горячечно блестящие, влажные глаза, и встряхиваю его легонько, потому что не уверен, понимает ли он меня вполне.

– Не кури, – просит он, рукой отгоняя дым от лица, – тошнит от запаха.

И зябко кутает плечи шинелью, застегивает крючок у горла.

– Как в погребке здесь.

Лицо у него желтое, губы от жара растрескались до крови, зрачки точно смолой налиты. Малярия.

– Саша! – Я притягиваю его к себе и чувствую на лице его горячее, резкое дыхание. – Пулемет обнаружил, слышишь меня? Обоих пулеметчиков видно. Не накроем – уйдут, сволочи!

Я вижу, понять меня стоит ему усилия. Он даже поморщился, оттого что больно подымать глаза.

– С глазами что-то делается, – признался он, – то лицо у тебя огромное, то где-то далеко все. Не попаду я.

– Я буду стрелять!

– У нас там, товарищ лейтенант, цель номер два. Правее немного, – внезапно поддерживает меня ординарец.

– А ну соединишь с комбатом! – приказываю телефонисту.

Все на НП сразу приходит в движение. Я иду по траншее, расправив плечи, и встречные почтительно прижимаются к стенам, давая дорогу: что-что, а стрелять артиллеристы любят. Может быть, потому, что мы всегда экономим снаряды. По нас бьют, а мы экономим. Хуже нет, когда сидишь в окопе и ловишь ухом: перелет? недолет? вот он, твой, кажется! И вжимаешься в стенку, и выть хочется от бессильной злобы...

Я сажусь к стереотрубе, прилаживаю ее по глазам. Вон они оба в своих касках, как птенчики в гнезде. Только б не спугнуть. И вдруг замечаю, что и команду передаю тихо, словно они могут услышать.

– Цель номер два! – звучно, лихо, радостно повторяет за мной телефонист. – Правее ноль двенадцать!..

Над головою шуршит земля. Это двое разведчиков с биноклями вылезли наверх, лежат в кукурузе на животах, ждут первого разрыва. Я медлю: сильный ветер, он неминуемо снесет дым разрыва, а мне хочется быстро вывести снаряд на цель, чтоб сразу перейти на поражение, пока они не сообразили, что к чему. Первый дал перелет.

Я команду:

– Взрыватель фугасный!

Позади пулемета овражек. Плоский осколочный разрыв не будет виден, фугасный же выбросит столбом. Телефонист озадаченно повторяет:

– Взрыватель фугасный!

Он привык, что фугасными снарядами бьют только по укреплениям: по дотам, по дзотам, а здесь – окоп.

И вдруг вся эта продуманная комбинация рушится. Пулемет внезапно начинает строчить – я вижу ясно вспышки в круглой тени яблони, – а сверху, над головой у меня, раздаются какие-то крики.

– Огонь!

Очередь обрывается, каски исчезли в окопе, грязный ватный разрыв встает позади. Сверху опять кричат:

– Левей, левей ползи!

Кому они кричат?

– Огонь!

Дымом заволакивает окоп. Когда его сносит, каски осторожно приподнимаются. И тут я замечаю на поле ползущего человека. К одной ноге привязана катушка, к другой – телефонный аппарат. Васин! Ползет сюда. Ему кричат. И я тоже кричу диким голосом:

– Лежать! Лежать, мерзавец!

Он как будто услышал. Замер. Обеими руками глубже натянул пилотку на голову. Опять пополз. И сейчас же – та-та-та-та-та!

– Огонь!

Разрывы сильно сносит ветром. Замолкнув на минуту, пулемет опять начинает работать. Вцепился в Васина, не отпускает живым. Больше я не смотрю туда – иначе не попаду. Наверху тоже затихли. Убит? Страшная эта тишина.

– Батарее четыре снаряда беглый огонь.

Грохот, кипящий дым над окопом, и в нем – мгновенные вспышки огня. Даже здесь все трясется, со стен ручьями течет песок. И сразу все обрывается. Тишина давит на уши. Когда ветром относит дым, вижу срубленную яблоню, сапог, выброшенный из окопа. Пулемета нет. И окоп почти целый. Он теперь не в тени, на ярком солнце, тень исчезла вместе с яблоней. Из него медленно исходит дым.

Наверху, над головой у меня, раздается рев, как на стадионе. И под этот рев вваливается Васин с катушкой и телефонным аппаратом. Пыльный, потный, запыхавшийся – живой! Черт окаянный! У меня до сих пор из-за него дрожат колени.

Васин быстро подключает телефонный аппарат.

– Ругались!.. Одна нога здесь, другая – там, чтоб найти вас...

Я сижу на снаряжном ящике у стереотрубы, смотрю на него сверху. На его шею, красную, блестящую от пота, заросшую темными волосами, на его круглые плечи, мускулы под натянувшейся гимнастеркой, на его тяжелые от прилившей крови уши, оттопыренные, как у мальчишки. Молодой, здоровый, горячий, весь полный жизни. Если б одна из пуль, одна только пуля попала в него сейчас... Кажется, пора бы уж привыкнуть. Но как подумаешь, невозможно ни привыкнуть, ни понять это.

Васин снизу подает мне трубку. В ней – голос начальника артснабжения полка Клепикова.

– Мотовилов? У тебя какой пистолет, понимаешь? Отечественный? Трофейный? Я, понимаешь, специально приехал, инвентаризацию, понимаешь, провожу...

Снизу на меня смотрит Васин. В глазах сознание важности состоявшегося наконец разговора. Он ждет.

Ради этого разговора он полз сюда, привязав катушку к одной, телефонный аппарат к другой ноге. Я молчу.

– Мотовилов? Ты меня слышишь, понимаешь? Ты что, понимаешь, шутки шутить, понимаешь?

Когда он волнуется, он с этим «понимаешь» как заика. Он очень обидчив, Клепиков. Он – капитан, но ему все кажется, что строевые офицеры недостаточно уважительно относятся к этому факту. К командиру батареи, тоже капитану, они относятся с большим уважением, чем к нему, начальнику артснабжения, хотя должность его выше и даже единственная в полку.

– Я специально приехал, понимаешь, инвентаризацию отечественного, понимаешь, оружия произвожу!..

Я не могу даже обругать его, потому что рядом – Васин. Для этого разговора он тащил сюда телефонный аппарат – у меня это еще перед глазами, как он полз и как стреляли по нему.

– А ну отойди отсюда! – приказываю Васину.

Когда он отходит, я прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все, что думаю о нем и его инвентаризации. Он кричит, что будет жаловаться, что я пользуюсь тем обстоятельством, что между нами Днестр. И голос у него жалкий. И мне вдруг становится жаль его. Не надо было его оскорблять, тем более что он все равно меня не поймет. Чтобы понять, ему надо побыть здесь, но здесь он никогда не бывал и не будет: на войне всегда между нами Днестр. И говорим мы с Клепиковым на разных языках. Он действительно с самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на той стороне и чувствует себя там на передовой. Он производит инвентаризацию личного оружия, потому что из честных побуждений хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войне. А в то же время из-за этой его внезапной старательности только что чуть не погиб хороший человек. Наверное, Клепиковы нужны на фронте, раз даже должность для них есть. И в жизни, наверное, без них не обойтись.

Не знаю, тут есть что-то несовместимое, что совершенно понять нельзя. И хотя мы служим с Клепиковым в одном полку и все время на одном фронте, у нас с ним нет общих воспоминаний, война для нас настолько различна, словно это две разных войны. У меня гораздо больше общего с незнакомым мне, случайно встреченным пехотинцем, с которым мы закурим вместе, перекинемся парой ничего не значащих слов, и окажется вдруг, что мы и понимаем друг друга с полуслова, и чувствуем многое одинаково.

Я уже не сержусь на Клепикова. Я действительно на него не сержусь. Я отвечаю на его вопросы. У меня не отечественный пистолет – трофейный парабеллум.

Клепиков еще некоторое время ворчит, потом успокаивается. В общем, он незлобивый человек, хотя и обидчив. Главное, он любит, чтобы к его делу относились уважительно. Я доставляю ему это удовольствие: терпеливо слушаю его. Оказывается, трофейные пистолеты он не включает в инвентаризацию. И чтоб у меня не осталось неясности на этот счет, он разъясняет, почему он так делает. Но что-то надо сказать Васину. Не мог же он зря проделать весь этот путь. И я благодарю его.

– Но если еще раз так полезешь, не немцев бойся, а меня.

Васин доволен.

До вечера мы остаемся здесь. Васин угощается у разведчиков, я иду к командиру батальона Бабину, которого поддерживает наша батарея.

С яркого солнца, с пекла спускаюсь вниз, в прохладный сумрак землянки, где желтым огоньком горит свеча.

– Начальству привет!

Бабин только глянул и продолжает лежать думать над шахматной доской, подперев ладонью крепкую черноволосую голову. Он в тельняшке, в одном хромовом сапоге, другая, вытянутая нога, в носке. Про него говорят: «Это тот комбат, который лежать воюет». Даже те, кто не знают его по фамилии, в лицо ни разу не видели, про такого комбата слышали. Бабина ранило в ногу осколком мины, еще когда мы высаживались на плацдарм. С тех пор он и воюет лежать, и немцам ни разу не удалось потеснить его батальон. Рассказывают, была тут сначала военфельдшер – отчаянная девка, она и ухаживала за ним.

При желтом огне свечи руки, шея, лицо Бабина кажутся коричневыми. Лицо у него крупное, жесткие щеки давно уже бреющегося человека.

Напротив него, на других нарах, сбив фуражку на затылок – как она у него там держится, непонятно, – горбоносый командир второй роты Маклецов негромко, чтоб не мешать комбату думать, наигрывает на гитаре и поет: «Прощайте, скалистые горы...»

Песни комбат любит морские: до войны он плавал на Севере капитаном рыбацкого сейнера.

Я сажусь рядом с Маклецовым, достаю портсигар. В общем-то, конечно, Яценко прав, что не дал снарядов: стрелять из стопятидесятидвухмиллиметрового орудия по отдельным наблюдателям – это все равно что из пушки по воробьям. Но рассуждать объективно можно, когда ты спокоен, а не в тот момент, когда сидишь в щели и голову нельзя высунуть, а тебе еще снарядов не дают.

Привыкшими к темноте глазами замечаю в дальнем углу у дверей худощавого, щуплого телефониста. Надевает на голову телефонную трубку, усаживаясь рядом с телефонным аппаратом, старается не шуршать. Он явно смущен. Еще бы не смущен, когда выиграл у начальства.

– Где-то тут я что-то просмотрел... – неуверенно говорит Бабин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.